

НИНА КОСМАН



ПО ПРАВУЮ РУКУ СНА

П
О

П
Р
А
В
У
Ю

Р
У
К
У

С
Н
А

КНИГИ НИНЫ КОСМАН:

Перебои

изд-ство «Художественная литература»,
Москва, 1990

Behind the Border

изд-ство Wm. Morrow,
Нью-Йорк, 1994, 1996 (на английском);
изд-ство Asunago Shobo,
Токио, 1994 (на японском)

Переводы:

In the Inmost Hour of the Soul

Избранные стихи Марины Цветаевой
изд-ство Humana Press, 1989

Poet of the End

Поэмы Марины Цветаевой
(tr. with Andrew Newcomb)
изд-ство Ardis, 1996

НИНА КОСМАН

.....

ПО ПРАВУЮ РУКУ СНА

.....

ПОБЕРЕЖЬЕ / THE COAST
Philadelphia
1996

Nina Kossman
PO PRAVUIU RUKU SNA
[To the Right of a Dream]
Poems

Copyright © 1996 by Nina Kossman
All rights reserved

Published by
THE COAST
Russian-American Publishing
9921 Bustleton Ave , Suite #W10
Philadelphia, PA 19115
USA

Library of Congress Catalog Card Number: 96-70302
ISBN 0-9654454-0-2

Cover painting by Nina Kossman

Manufactured in the United States of America

Acknowledgements are made to the editors of the following periodicals in which some of these poems first appeared: *Вестник, Встречи, Новый Журнал, Новое Русское Слово, Побережье, Chiron Review, The Connecticut Poetry Review, The International Poetry Review, The New Renaissance, Quarterly West, Prairie Schooner, Show&Tell, Southern Humanities Review, Takahe (New Zealand).*

СОДЕРЖАНИЕ

Вот она, видишь, льётся...	9
Чьи руки свободны от ноши	
I Кто родину поёт, а кто...	10
II Кто стоит на хрустальной горе...	11
III Кто рождён, словно конь...	12
IV Кто учится страху в чужой...	13
V Кто -- словом, кто -- стягом...	14
Северный воздух	15
Несерьёзная сказка...	16
Рыцарь видит отраженье...	17
Ветер в окно мне заносит...	18
Так редко слова...	19
Там, где реяли сонные флаги...	20
Неосмысленным зрением полнится...	21
Желтизной подобию...	22
Отворяется клетка сна...	23
На бегу смешалась и завывала...	24
Видишь...	
I Видишь, как в лучах солнца...	25
II Видишь, как чайки сонно...	26
III Видишь, как чёрная стая...	27
IV Видишь, как белой волною...	28
V Видишь, как тяжелое небо...	29
VI Видишь, как новый век...	30
Древние звуки манят Одиссея...	32
Падая в небо, песни...	33
Вещий старик, из двусмысленных...	34
Марине Цветаевой	
I Ей всё равно -- откуда и куда...	35
II Забытьё заповедной зелени...	36

III Целясь в будущее...	37
IV Захлебнувшись бездонной волей...	38
V Ты державную рану всю отдала...	39
VI Клянясь стихийными раскатами...	40

Бескрайний, дикий, шелестящий...	41
Сердца валежник...	42
Присутствие тени...	43
Если смерти нет...	44
Очную ставку...	45
Камень с его постамента...	46
Изнанка кожи, язык твой прост...	47
Голубые кошачьи глаза...	48
Trippe	49
Отраженье скрывает лицо...	50
Свеча морочит ночь...	51
Занесённая ливнем в город...	52
Он сам был облик и развитие...	53

Детские стихи

1. Так и так, мол, птица-галка...	54
2. Считалка	55

Лёгкой песенки длинноты...	56
В сумрачное утро...	57
Кеглярная	58
Встал -- горой...	59
Уйти в себя...	60
Неторопливо и нежно...	61
В тишиной озарённый час...	62

Английские стихи

Dreamer	64
In His Final Dream	65
His Happiness	66
Ideal Solution	67
If I am	69
Singing Suns	70
The Flock	71

Shadow over the Town	72
See How the Stones Rest	73
In the Cold Air	74
Seasonal	75
Wakefulness	76
Imagine Two	77
Life Within a Museum	80
Daphne and Apollo	81
The New Leda	82

ПО ПРАВУЮ РУКУ США

• • •

Вот она, видишь, льётся,
живая вода ручья,
живая вода сказок,
для всех она и ничья.

Никого не оденет в золото,
никого не спасёт от бессна,
живая вода сказок,
медленна и ясна.

Видишь, как ласково льётся,
льнёт к холодным рукам,
живая вода сказок —
чур меня! Исцелись сам.

ЧЬИ РУКИ СВОБОДНЫ ОТ НОШИ

I

Кто родину поёт, а кто — иные земли,
кто в такт себе живёт, а кажется, что дремлет,
кто собирался в путь, кто в детстве назубок
названия заморских стран все перечислить мог,

кто потерял себя, кто в родину, как в зеркало гляделся,
кто по морям имён — не впал, а выплыл в детство,
кто приобрёл себя: как в зеркале, в себе отображая сон
то ль моря, то ли родины, а то и прочих зон.

Кто стоит на хрустальной горе, сам не ведая сколько лет,
чьи руки свободны от ноши, а глаза — от примет,
кто стоит неподвижно в ожидании дня,
ни с кем не братаясь, никого не кляня.

Ту гору и звери — сторонкой, и познавшие страх орлы
облетают, как будто на выстрел из невидимки-стрелы;
кто стоит на вершине, собственной тени личась —
святой или рыцарь, полубог или князь.

III

Кто рождён, словно конь, для прыжка и арены,
кто, как Локи, немыслим без огня и измены,
кто, как Один в Валгалле, царствует в смерти,
один — на всё царство, бредящий честью.

Кому и когда отомстить он способен,
навек потерявший протекцию родин,
рождённый, как царь, для великих свершений,
умерщвлённый, как пёс в пылу сновиденья.

IV

Кто учится страху в чужой стороне,
кто ходит за ним в волчий лес,
дремучий, как мир и тёмный вполне,
и с жутким лицом древес.

Когда, чьей рукой, на стеклянный гроб
положен, под волчий вой,
искатель древних и мудрых снов
и воды живой?

V

Кто — словом, кто стягом, кто — скопом, кто — врозь,
и надо всем и над всеми — страх.
кто — скучен, кто — скуп, кто — как в землю врос,
а кто в детство глядит, чуждак.

Кто — ручьём, кто — поляной, кто — в лес навсегда
уходит, махнув рукой.
В ком страху — ни капли. Кто ни следа
не оставил бы за собой.

СЕВЕРНЫЙ ВОЗДУХ

От тревожного света ночных фонарей просыпаясь,
глядишь, не мигая, в холодные улицы сна.
В северный воздух, как рыба, ныряешь по пояс,
Память бедного детства: холод и белизна.
Покинутый город в пышных снегах затерялся.
Не поют о нём даже скальды, запивая вином.
Помнит о городе лишь сновидец печальный:
Здесь, где кончается лес, стоял его дом.

НЕСЕРЬЁЗНАЯ СКАЗКА

Чудо — юдо поклонилось,
миру в ножки опустилось,
приглашая на жильё,
воркованье и лганье.

Чуду дева улыбнулась,
поклонилась, изогнулась,
и пошла пред ним плясать,
тихо-чутко, словно тать.

Дева видит: исказились
глазки чуда завалились
в бездну сладкую, как ад,
как молочный шоколад.

Дева в чудо окунулась,
присмотрелась, ужаснулась.
Дева ввергла чудо в грязь.
Так порвалась с чудом связь.

* * *

Рыцарь видит отраженье,
рыцарь что-то говорит.
Но драконово отродье
сердце вырвать норовит
из груди, кольчугой крытой,
но ранимой, как душа,
из последнего загона
тенью освобождена.
И не слышит рыцарь мнимый,
что там дама говорит,
и не слышит лошадиный
стук серебряных копыт.
Конь двоится пред глазами;
с тенью рыцарь говорит.
"Скоро тенью сам он станет!" —
леший чудищу бубнит.
"Вырвем сердце, обмусолим,
а потом — айда в котёл!
Там и сгинем. Наша воля.
В тело — душу обмакнём."

* * *

Ветер в окно мне заносит чужие грехи
незамоленные, не переложенные на стихи,
в которых кто-то кого-то надсадно зовёт.
Непонятен мне сих нежданных гостей залёт.
Если б я знала, если б могла от влетевших уйти,
от взметнувшихся вспять, несущих страсть впереди
как флаг, самих же себя обгоняющих в такт.
Запереть бы окно и вышвырнуть их в закат.
Вижу ухмылку их, распушенность рта и глаз;
вижу, готовы пуститься в брыкливый джаз.
Закрываю окно, за шкирку их и — вниз.
Но кажется, уцелели, зацепившись хвостом за карниз.

* * *

Так редко слова, как зрячая медь молитвы
в сонном воздухе тёмных замёрзших звёзд.
На тихие руки тяжёлые волны ложатся
и тянется память траурной лентой стиха.

Серебряный ковш залит древним кипучим напитком.
Морозную мудрость тянуть неуступчивом ртом,
чтобы болеющий быт опоясать полу-лентами ритма,
светотенями памяти в слепых отражениях звёзд.

Так редко слова в изумлённую тишь пространства
слетают, как бабочки в последнюю смерть.
И ровным огнём светит блаженный напиток
и нет привычных предметов в воздухе чёрных звезд.

* * *

Там, где реяли сонные флаги, остался один флажок,
по красной тряпице бежит, нарисован, золотой петушок;
и зелёные глазки торчат, как бутоны, на то и божок,
и вокруг него изогнулась граница в изящный кружок.

Со своими знамёнами едет да не в свой закуток:
по мякоти брони, по взмаху ладони — здоров мужичок!
По мякоти глины и беспамятству луж — шепоток, ветерок.
Едет далёко со знамёнами новыми последний совок.

И вот он на новой земле, в новые игры игрок,
петушковое знамя мусолит, перекраивает на платок.
Но — себя в перестройку отдать? самого? вот кусок
ткани на новое знамя, на время, на старую душу в залог!

* * *

Неосмысленным зрением полнится капля зрачка.
Но отыщется мир, вспять глядящий улыбкой детства,
поскрипывающий на тонком снегу подошвою толстых галош,
притяженьем неловких шагов догоняя земную память.

Не найти в толстокожем Нью-Йорке звезды
сеющей в прошлое слабый, любимый отсвет,
как тихая музыка торжества благодати,
песнь высокого неба и несломленных временем гор.

Так, оттолкнувшись от жизни душа поёт
о чудесном прошлом;
так слепому во сне видится праздничный мир;
так качанье несслыханных слов завораживает память детства,
а жизнь промелькает мимо всадником на быстром коне.

Кто-то отнял у жизни очертанья отчизны
и взамен дал ей морок туманных грез,
чтобы в них зарождались слова благодати
и, изумлённая, сеялась память горстью на тёплый снег.

* * *

Желтизной подобий —
в наговор смородин:
здесь невинна память
и распутен снег.

Чтобы не сгрустнулось —
на тебе смородин.
Губы — как в помаде,
некуда их деть.

Как от поцелуев,
губы от смородин.
Только не смывай их!
Выкупай в снегу.

Вот тебе и буря
в чашке ли, в стакане ль.
Горсть таких смородин
ладить на стихи.

Только б не остыли
ото сна и бреда,
липлюю гурьбою
ложась на писчий лист.

Да что листу до ягод!
Пусть даже и подобий!
...Сон на сон меняя,
и губы — на стихи.

* * *

Отворяется клетка сна.
Раскрывает ладони львица.
Под царственный храп льва
мне продолжает сниться
букет чёрных ресниц,
повисших над белым глазом:
кто вынул его из лиц,
ласково вставил в вазу?
Ласково вставил в вазу,
водрузил её на
левую лапу львицы
по правую руку сна.

* * *

На бегу смешалась и завывала
бабьим диким плачем по полям,
и в лесу нашла себе могилу,
с зайцем разделила пополам;

и потом разыскивали тщетно
поселяне с вилами в руках;
сколько бы ни клали челобитных,
только умножали ими страх.

Ведьмин лик смешался с белой глиной.
Стал звездой далёкой левый глаз.
К ней, как на водопой звериный,
собирался лес на ведьмин час.

ВИДИШЬ...

I

Видишь, как в лучах солнца
играет зрачок бога,
приручившего стадо зверей
на смерть воевать с лесом,
в котором мечутся белолобые люди
грозным стадом алчных судеб,
воюя железом и медью
с любимцами бога огня,
каплей сухого пламени
повисшим в ветвях солнца,
тонкой струёй золота
текущим с нагих ветвей.
Видишь, как многоногие люди
обрастают гривой коней,
несущих их вон из леса,
в котором жёлтые цветки вечности
опутают их быстрые ноги,
вплетутся в их чёрные гривы
и они застынут, обросшие мхом,
и в их белые слепые глаза
вольёт свою волю бог пламени.

II

Видишь, как чайки сонно,
медленно, сонно кружат,
крыльями медленно машут
над красной глиной у озера,
глиной, из которой греки
лепили узкие вазы
с узором из быта богов
(владеющие тайной смерти,
ей оказались подвластны) —
боги из красной глины
у озера сонных птиц.

III

Видишь, как чёрная стая
молча упавших птиц
смотрит, воздух глотая,
на воздух, глядящий вниз;
и разум их, ставший крыльями
и их изумлённые сны
о небе, коварно спиленном
до самой голубизны —
чёрною стаей, без крика
в безмолвные лезвия трав:
железной земли стоокой
и зрячего неба сплав.

IV

Видишь, как белой волною,
мнимой гордыни полна,
встаёт водяная дева
из молчаливых волн;
и сеет в предания прежних
неоглядно безбрежных лет
тридцать три звена благодати
и медных лучей букет,
с затаённо-нежной улыбкой
слушает древнюю кровь —
как в море холодные звуки
волна за волною несёт,
и гаснет в ресницах длинных
длинных веков череда,
пока мере и миру незрима
заливает лучи вода.

V

Видишь, как тяжелое небо
спускается на землю
темнотою нагих деревьев,
чёрною чадрою туч
укрывая глаза пророка,
ещё не рождённого,
ещё не прорвавшегося
сквозь изогнутые своды земных церквей,
толщи земных законов,
ревнивых, как обойдённые судьбою девы,
и жадных, как обойденные удачею женихи.
Видишь, как молчаливые дикари
(смуглая свита пророка,
несущая за ним столетьями вскачь),
оставлены позади пророком,
опередившим время и счёт
пространства, делённого на города и страны,
рыжие империи псевдо-богов,
соперничающих с богом солнца.
Посмотри, разве не видишь —
в золотых молчаливых кольцах
солнце спустилось на землю,
где в золотой тишине деревьев —
упрямо скачущий конь:
быстрая тень пророка.

VI

Видишь, как новый век
плавает в голубой заводи старых песен
и новые люди с птичьими лицами
отчаливают в немую синь;

видишь, как медные кубки
вновь поднимают воины,
а тот, чьей стрелы ожидает тень,
висит в Млечном пути
каменной звездой;

и пьёт дыхание мёртвых дев
бескровным ртом Агамемнон,
и отдыхает от Агамемнона солнце,
уставшее от побед;

и человек, обвитый плащом,
восходит в горы Аркадии,
чтобы снова отдать золотое
яблоко богине любви;

и сквозь богиню блестит стеклянная
Троя прозрачных жертв,
отстроенная за тридцать веков
вереницею многоязыких бардов;

и цветные бусы зрачков
висят на шеях у варваров —
они обросли тучами,
как косматыми шлемами битв.

А далее, за Ахиллом,
тень молодого века,
переодетого умирающим
суровым другом богов;

видишь, как в синей заводи
плавают смерти греков,
переменивших страны,
не изменивших векам;

и в их победе, изогнутой,
как рог жертвенного быка —
один неизменный образ:
медленно оды льющая,
ревнивое золото льющая,
каменная, как встарь, звезда.

* * *

Древние звуки манят Одиссея
вновь отдаться блаженным ветрам,
и Троя зовёт Одиссея
тенью тени медных побед,

и новая Пенелопа
прядёт прежнее полотно,
и в древнюю верность наводят стрелы
многоликие воины новых стран.

Погляди, Одиссей один
готовится идти на Трою,
и конским волосом его судьбу
заплетает ему Цирцея;

и на острове он один
разгневает бога солнца
и спустится в царство теней,
где окликнет свою же тень;

и столкнётся с тению детства
отца своего Лаэрта,
и переименует себя в исполина
чьей-то чужой судьбы,

и в первый месяц текущей эры
вставит лучи своей,
пока тяжёлые руки нашего века
не опустят Одиссея вниз,
не отдадут Одиссею волю —

и он останется медным воином
в мире чужих имён.

* * *

Падая в небо, песни
становятся отсветом звёзд,
в хмельные пустоты жизни
опускают сияющий хвост,
звуками полнящийся, остывающий
на земле медью удач,
становящихся песней чаше,
чем незнающим дано знать.
Так в сказку древнюю — светом
дано певчим солнцам упасть,
чтоб из их золотого бреда
новых солнц добывали масть.

Вл. Набокову

Вещий старик, из двусмысленных далей,
музыкой льющихся в бочку души,
по растворимому чувству, по капле
бочку наполнить собой не спеши.
Вещий старик, из далей безличных
слепивший из душ для музыки ковш.
Властью над миром души ограниченный,
зачем льёшь и тянешь правдоподобную ложь —
нету свидетелей, жертв незапуганных
чувством, сводимом тобою на нет.
Властитель не душ, а далей осознанных,
маг полу-маски, ненасытный эстет.

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

I

Ей всё равно — откуда и куда,
и на каком чужом наречьи
быть, слыть — ведь дней орда
ей всё одна; и тут же вечно
куст бузины в бессонных снах горит,
и просится в знак духа слово,
хоть внешний мир осанисто сорит
могущественными знаками закона.
Отдушью слов принадлежит душа,
влюблённая в своё призванье —
быть лишь душой; и ночь из-под плаща
глядит, украдкой судьбу цыгана.
Весь зуд бессонной бездны звезд,
обещанных вторым пришествьем,
пусть вторит ей: откуда и куда,
и на каком чужом наречьи.

II

Забытье заповедной зелени
в пронзительном зове сна,
снящегося противлением
против мира, разложенного на
аркады, рессоры, ресурсы,
приезжих и местных невежд,
школьных шутов и трусов,
врасплох захваченных меж
осанистых взрослых сказов,
один другого скучней.
Невписывающимся персонажем,
животрепещущей, всей
собой, отдав дань железу,
из коего скован дух,
навсегда вклинившийся между
двух миров соразмерных мук,
звучащих чудом из чрева
чудотворных чужбинных дев:
не прах ты — не плоть — не Ева —
Психея в забытии дерев.

III

Целясь в будущее, как в мишень смерти,
у смерти отобрав плоть сна,
мукою сердца, звенящей медью
из опустошенного колчана, —
стрел было много в твоём заплечьи;
теперь — лишь небьющие стрелы слов,
медные копья чужой речи,
и наказ читателю — чтоб,
твоей стрелой ещё не пронзённый,
не звал тебя, ибо ты — жива.
Чтоб лука твоего точённого
не звенела попусту тетива.

IV

Захлебнувшись бездонной волей,
обеспамятев от бессна,
безумной страстной крамолой,
речью делённой на
душно-слепую нежность,
бешено бьющий ток
слов, расположенных между
нежности между строк,
неусыпных ночных радений
слова (Аталанты — в миф);
неистовым Гиппоменеем
в хитоне из конских грив
догнать бы солнце мольбою
о прощении, в мишень
целясь золотой божбою
к взлетевшей твоей душе.

V

Ты державную рану всю отдала
и чан переполнен. Занавес —
в пламени, и скоро — до тла,
и от лица — лишь абрис
духа, вкренившегося в за-звёздный плот
веков, полонённых твоим соседством,
тобой превращённых в сплошной потоп,
твоей души заразившись действием.
Зала мертва от сновиденных трав,
но воскреснет в бегущих ландшафтах —
срыв души, готовой на сплав
с душой своего таланта.

VI

Клянясь стихийными раскатами печали
в недышащий под дождь осенний день,
произнести звук речи изначальный
осипшим голосом — в живую полутьму
той, что жила в стране своих преданий,
из вод родившаяся женщина-титан,
жила наитием и вечным океаном
легенд, любви, поэм, стихов и драм.
Клянясь печалью всех причин и родин,
всех не предавших замысла чернил —
дань океана вдохновенью и природе
и торжеству её стихийных сил.

* * *

Бескрайний, дикий, шелестящий,
без слов, без знаков, без вестей,
и все слова превосходящий
размером глаз и колкостью локтей.
Затёртый, стёртый, перешедший
за грань понятного для всех и вся,
полночным знаньем наболевший
и непонятностью дразня,
он стонет, воеет, тычет, машет,
он тает, словно снег весной,
и на лице его — вчерашний
след чёрной тучи вековой.

* * *

Сердца валежник —
мой ли? — Безбрежный.
Небрежность возрадивший
в бравшем его.

Нежность — на нежность
поровну срежем —
безбрежность — и: смежность.

Так в вечность
войдём.

* * *

Присутствие тени
в отсутствии сна.
Разделение
бессониц на

смятение тени
и томление дней.
Нетерпение
стать ничьей.

Молчание тени
в присутствии слёз.
Низведение
нелюбви в невроз.

* * *

Если смерти нет, значит можно жить,
можно землю словом ворожить,
каждым словом жизнь продлевать,
каждой буквой птиц созывать
на застолье из крошек дум,
корки сна; да под птичий шум
в знак того, что жизнь — не фантом
пускай птица взмахнёт хвостом,
пусть это будет симптом,
что смерти ни тут, ни в том.

* * *

Очную ставку
с ничьей душой —
ляг на лавку,
я — за тобой.

Вслед за душою
— вся в перьях стать! —
взмыл стрелою
и не видать.

Ангелом смертным,
— в ненависть лбом! —
ох и лестно
лежать вдвоём.

* * *

Камень с его постамента не сдвинуть.
Руки трепещут и плачутся в ночь.
Стрелы поют, а троянская глыба
была и белела и пятится прочь.
Мелом замажут на карте простраций
место, где камень когда-то стоял.
Любо-слюда гибло-бледного кварца —
Сердце из камня я изваял.

* * *

Изнанка кожи, язык твой прост.
Хоть мят и скучен, а всё ж любим.
Сознание бьётся в горсти, и пусть —
так воздух кожи весь месяц длим.
Бежим не смерти (она-то дым),
изнанки речи, она что — смерть.
Покуда длимся — неотделим
язык молчанья от желанья влечь.

* * *

Голубые кошачьи глаза.
И вдруг вздрогнет жизнь и ошурится,
и опять, и опять, как тогда:
по резным, по лукавым улицам,
и как вздрагивают провода,
и как вдруг преродными чудятся...

Но, как отряхнётся, как кошка, жизнь,
но как в новый дом перейдёт,
да как свой котовской каприз
не тем проводам шепнет...

TRIUNE

Рассказчица снов отразилась в стекле.
Стекло разбилось на сотни гримас.
Гримасы смешались в одном котле
И — ни единого сна для нас.

Охранница снов собрала сны в храм.
Молилась на них, как на лики богинь.
Но время сломило и сей сезам:
от храма — лишь сон один.

Печальница снов их зарыла в земле,
и вырос из них чудный куст.
Целебные листья куста — в цене.
А ствол оказался пуст.

* * *

Отраженье скрывает лицо,
чтобы вместо лица — кольцо,
образует полулицо,
в котором, как рот — кольцо.

Отраженье вливает в глаз
сказку тебе о нас,
говорит тебе про меня,
путая и темня.

Отраженье вливает в рот
то, что дольше тебя живёт,
и потом заливает дождём,
где почивали вдвоём.

Отраженья холодный шлем:
чтобы рот — хоть раскрыт, а нем.
Отраженье следит за тем,
чтобы каждому было с кем.

* * *

Свеча морочит ночь
понять где тьма где лечь
смотреть чтоб превозмочь
путь к ангелу и прочь

а ангел слышит дверь
крылат ты да поверь
кому пакет потерь
давно уж мёртв теперь

а ангел видит тень
и ангелу не лень
избавить от потерей тень
всю на себя мигрень

свеча морочит тень
так тьма пророчит день
понять как превозмочь
путь из ангелов в ночь

* * *

Занесённая ливнем в город,
дышит весна, шелестит судьбой,
распрямляющейся под топот
тех самых толп, что с собой
несут отрицанье судьбы и века,
рассроченного по часам,
вкраплённых ночью в ландшафт Мекки,
где камень — судьба и её же храм.
И в вагонах, бегущих наперерез страхам,
дышат паломники ветром тайн,
падающим под грохот колёс во мраке
в развязку обезумевших повестей окраин,
где небо, как жуткий создатель
дум и иллюзий и драм,
предпишет судьбу не иначе,
как ценою души, но за обман
себя самими собою
не простит тупик платежа.
Так дар доброты — злою
участью внесён в учёт дележа.

* * *

Он сам был облик и развитие
своих напастей и причуд,
лихой носитель их величья,
бездумный и отменный плут.
Он звонкой данью мерил гений;
в зияющей на фоне фраз
экранизации творений
грядущих толп узрел экстаз.
А сам — чуть ниже сосен ростом
и так же лёгок на подъём,
как миром бредящий подросток,
от мира прячущийся днём.
Им восторгались дамы в детстве.
Он детством был вооружён.
То своенравия, то чувства,
а то эстетства эпигон.

ДЕТСКИЕ СТИХИ

I

Так и так, мол, птица галка,
вам — от нас нужна закалка,
нам же надобно б заколку,
чтобы модной сделать холку.

Галка-птаха-побираха,
больно много нынче страху.
Голосить не будет эхо:
"Всё Вам, галка, на потеху!"
И писать про Вас не станет
говорун, что больно ранит.
И читать о Вас не будет
тот, что чтиво варит людям.

Галка-чёлка-балаболка,
ни шепнуть, ни вызнать толком.
Кто? Кому? И где — почин?
Только ты про то молчи.
Чин-чином до нас дойдёт,
от ворот — и поворот.
Будет, будет Вам возня,
когда галкой стану я.

2. СЧИТАЛКА

Ярче бреда, легче чуда
плещущей у ног судьбы,
тише, лучше нарисуй мне
рыбу-молот тьмой волшбы.

Дай ей тенью светло-серой
класть поклоны сгоряча,
вход во все морские сферы,
через пещеры, без меча.

Чтоб, её печалью тронут,
океан вскипал.
Пусть ей самый утлый омут —
будто полная изба.

Чтоб никто у ней с опаской
не отнял её волшбы,
рыбу-молот нарисуй мне
среди прочей шантрапы.

Дай ей крови быстро-нежной,
чтоб, как мяч, легка,
останавливала спешно
ночью поезда.

Ярче неба, глуше моря,
плавником — ничья...
Что я? Это рыба-молот
или жизнь моя?

* * *

Лёгкой песенки длинноты
растворяют створки дрём
что-то немощное, что-то,
то есть, вовсе ни при чём,
заливает створки зренья
краской красною страстей,
краской жёлтою круженье
всё ревнивей и быстрее
заливает жизни ямы,
и глядишь — уж окружён
мутным воздухом нирваны
в нежилой стране истом.
В жёлтой краске нетерпенье
в миг находит свой резон:
лёгкой песенки круженье,
смертный времени закон.

* * *

В сумрачное утро разве знаешь
к каким оттенкам склонится закат
и скудость обещанья променяешь
на всё, чем час сегодняшний богат.
А после поздно теревить молитвы
и падать на колени и бубнить
о вдохновенье, временем убитом,
и вновь его тянуть за нитью нить.

КЕГЛЯРНАЯ

Кегли — рядами.
Люди — шарами
Жарят по кеглям.
Покинуты кельи
слов большеглазых,
дум-водолазов.

Утр угловазых
струится поток.
Мрак в нём измок.
И свет изнемог.
Вынули голос —
стал нем день, и ног
не смог отыскать
в некелейной кеглищной.
(Клещами вдруг вынули ноздри)
и — лишним
стал мозг:
ринг жужжащих шаров,
мор жужжащих миров.

Приклеились к кеглям — и пали.
Клей — кровь.

* * *

Встал — горой,
а над ним — пожар,
а под ним — водой
проплывает шар
земной — к земле:
что ж, лети во мгле
стрелой — в свою жизнь
вне любви отчизн,
от любви к себе,
по живой воде
пропльви весь шар,
и — задуй пожар:
среди всех — один,
исполин
 быстрин.

* * *

Уйти в себя,
не оставив ни шёлки,
ни глазка, ни листка,
ни слов, ни закатов, ни утр,
ни магии крови,
ни мании яви,
ни бессмертья для птицы-души,
выкарабкавшейся
из пут.
Ни обрядом любви,
ни волшбою заклятий
не унять этих тайных,
забытых по смерть голосов!
То — не дождь для двоих
барабанит в запястья,
то — тайна колотит по мякоти ртов.
Подальше, подальше,
собой, как скалою —
от сглаза, от часа, от слов и от книг —
такую сплошной, незапятнанной мглою,
какой только может быть
солнечный лик.

* * *

Неторопливо и нежно
он вдвует себя в мечту
будто мечта — это лестница,
ведущая в небо,
где боги с добрым прищуром
и с безукоризненной кожей
приветствуют его ласково: "Друг!.."
Будто для ловли человеческих душ
сеть сплошь сплетена из поэзии —
из ничего, кроме звуков и слов,
без смысла и даже цвета...
О где тот луной озарённый лес,
глядевший темно и строго
в высоком тумане его мечты,
пока он сооружал свою лестницу
и не ступил в облака.

* * *

В тишиной озарённый час
по нитке спускается слово.
Так в измученный шумом полдень
падает камнем тень.

В тишиной озарённый час
эхо сильнее звука.
Где высились хребты улиц —
теперь белое море сна.

В тишиной озарённый час
ловит младенец тени
указательным пальцем левой
протыкает насквозь сон.

В тишиной озарённый час
эхо говорит с эхом.
Пусть эхо говорит с Богом,
пока тень не осилит рук.

АНГЛИЙСКИЕ СТИХИ

DREAMER

He dreams his way up to being,
quietly, with unhurried breath,
as though breath were a blossomed staircase
leading to a perfect sky
where kind-eyed gods themselves
with slow, sinuous movements,
ancient skin and immaculate hands
would greet him kindly: "Friend!..."
As though the net to catch human souls
were masterfully spun of poetry,
and nothing but the sound of words,
not even the sense—the color....
Or where now are the moon-lit woods
standing up darkly and strictly
in the soft, thick mist of his longing ,
now that he has constructed his perfect staircase
and burst through his blooming sky.

IN HIS FINAL DREAM

The stronger evidence of the cloud which carried him into the paper-strewn lot of a magnified dream no longer his own, no longer here, no longer alive as it was when it used to entrap him. As it was, it was no longer the cloud that carried him but he, on a string of his dream, who carried it. No longer to a place of exact destination where purpose bloomed darkly, its petals—lips to feed the desire of morning air, the final air in the final dream. Where he himself was the cloud. Or, he was what he was. The desireless shadow, proudly calm, proudly insouciant of desire's death. He dropped it off like a coat, this second skin, this disease, this signifier of right and wrong, the serene and the feverish, the true and the false—the prevailing guile. His confusion resolved and his purpose realized: he in the sky, he sans his cloud, he sans his human shell.

HIS HAPPINESS

The actual event was no longer of any interest.
A destiny, exquisitely thought through, has folded into a life.
So much for the fluctuating approximations
of intelligent power, purposeful sky.
He tested his strength in the essential instances
when life and image flap their joint wings.
Earth, to him, was a belligerent sphere
that spews forth, on occasion, almost perfectly rounded words.
Yet it no longer mattered what he concocted
the night before, what sonnet of leaves or loss.

In a window he shifted his angle of vision
onto a cloud that shifted its angle of flight.
He thought: nothing sad in the death of contemporaries,
they shift their angle of life into their thorough work.
That he, too, was but a shifting reflection,
not as a stone or grass, no, so much less real than they—
this was an island of thought in an ocean of selfsame melancholy.
Disguised as a graceless chrysalis, it proceeded to unfold its wings.
Look at it! Seize it! Shut it into your cage of ecstasies!
The happiness unforeseen, the most singular secret of all.

IDEAL SOLUTION

An almost ideal solution
to our problem of problems,

he said (twirling his facial hair),
out of the grim mind matter

to construct the yes and the no
of fully accomplished

joy-worlds.
The history,

if you ask me, he said,
of this lucky idea

is the wish of a victim
whose prayer was heard

but only a half was answered.
Who knows,

but in the next
notch of memory

(where the future sleeps)
the world of the Yes

and the world of the No
(the dam in between them burned)

will exchange flirting glances
(don't they do so now?)

will sing an anthem to their joined
glands.

An almost ideal solution,
he said,

seized by chance
and confirmed by fancy.

* * *

If I am a fruit of oblivion,
then are you my memory's tree?

If I flap my wings of a soul,
then do you flap yours—of a mind?

If I am a pebble of a time-river,
then are you a rock of time?

If you are my memory's tree,
then watch that I don't fall.

SINGING SUNS

Falling into the sky, songs
turn into the blades of stars,
lower their shiny tails
into the drunken voids of life,
fill up with sounds, cooling off
on earth, like copper in a mold,
becoming a song more often
than you might think.
Like light into an ancient fairy-tale,
the singing suns fall,
and from their golden delirium
the new suns take color.

THE FLOCK

See how the black flock
of quietly fallen birds
stares, swallowing air,
at the air staring down.
Their minds become wings,
their startled dreams
of the sky insidiously sawed
down to its very blueness—
the black flock falling, without a sound,
into the soundless blades of grass:
the alloy of the hundred-eyed earth
and the seeing sky.

SHADOW OVER THE TOWN

Helen's shadow on Trojan rocks
still threatens the Greeks,
burdens them with the highest taxes
the loved exacts from the lover:
middle-class teashop warmth forsaken,
adding machines count the killed,
a scarce spring, a fruitless autumn,
quiet markets and barren cribs:
see the wretched pass for the mad,
the mad for the licentious
shadows creeping after the main
shadow over the town—
the cruel nudity of the woman
washed clean of mercy,
memory of the guilt reflecting
future centuries' blood.

SEE HOW THE STONES REST

See how the soul twists
in everything that doesn't love it.
And my eye, how it rotates,
the fierce eye of a god!

And see how the clouds cover
my body and him who loved it.
My soul—the kingdom of eagles;
watch it soar and kill.

And see how the stones rest
where my feet touched the weeping shadows;
how the river recalls
the anonymous plunge.

When I say—see, I say—farewell
to the blood which separates
the telling of truth from telling a star—
fall-in-memory.

IN THE COLD AIR

In my implacably aligned cosmos,
speak to me, happy bird,
speak to me in the cold air.

It is as if I knew and didn't know
the rising distance in your song,
see how it settles on my face—

the song made lucid in the cold air.
Speak to me of healthy feathers,
sing of their rustic beauty,

rustling colors joined in a shrub—
having become your life, your lullaby,
your singular and total rest.

So human in your isolation,
yet so solid on the wavering branch,
sing to me, happy bird,
speak to me in the cold air.

SEASONAL

No longer immune to the events of his soul,
he was charmed anew by the design of the world.
He now perceived in it not a roaring nothing
but the loops and the ripples left in the air
by a sound, a gesture, a moist farewell.
Ready for adulthood, the world would sprout
tendrils and petals in place of a sigh
unheard by the forces coiled in the clouds
or beneath the primeval ground where lovers sleep.
O glitterings of a life face to face with a miracle!
Appearance thrown off for feelings' sake!
Sprinkled with happiness as with sweet water,
he flung himself headlong into the laughing lap
of her whose face he could equate with nothing,
whose hand—ah, the first absolutely human hand!
Ready to admire the pure in her seasonal tussle
with emptiness, he was—like all innocent lovers,
seeing instead of her face, his whim.
When the miracle's seed gave rise to the stem of doubt,
he heard a soft tune: his own;
he heard a roaring void: the world's.

WAKEFULNESS

The left hand of darkness is light walking backward.
The absolute is the runaway smell of an ancient rain.
The mouth we kiss is not the mouth we stake our fate on.
Look: the throb of light is the cool breeze of years to be.

The shore of detachment is away from the sleeping seaweed.
The fists are open for the air to smile them away.
Nothing is less our own than the ashes the wind is keeping.
Look: the sun and the body both rush to a destination of light.

Wakefulness is a familiar dream of the dry face of canvas.
Wakefulness: the longing so filled with the gestures of light,
it no longer knows the border between word and silence
and cuts through it calmly like a swimmer into a hypothetical wave.

IMAGINE TWO

I have too clear a mind for dreaming,
she said as she ordered her thoughts away
from the distances they were meant to approach
and surround with incantations of thought,
with benedictions that carried cloudiness
into the world of too much logic and fact—
to make the most prodigiously dancing statement,
to make the most motionless music speak.

As she said what she said, newer thoughts
formed a tangible world of their own—
with the sky, and the grass, and the earth
furiously alive, furiously real, peopled
as if by mistake, by the same unidentified men
who demanded their newly made lives be a story
—differences seen, advantage of each admitted—
and that she be the one to tell:

"In the definition of oneself, what is oneself
but what the mind of another has one be?
A stage of flux, a cycle of expression,
a monad of breath, half-fish, half-bird,
a human fully conscious of oneself,
a story of a life not fully told yet imagined
with all the colors one can see and sense
in all four worlds susceptible to love and color?"

She would be fair: she would define each
through his honest love of her, that being
an amorphous and hard to define thing
not lending itself easily to scales or rulers,

laurels of glory or medals of perfection,
well-sharpened wits or post-scientific methods
of finding the culprit by the manner of his deeds,
the manner of his thoughts remaining doubly hidden.

She would be fair; she would collect from each
a love of just his size and shape of mind,
no more than his imagination could contain and give—
a well-formed thought, an inchoate cry, a foppish praise
not so much beautiful or kind but truthfully
the shadow enshrouding his uninvented self
which loved because it lived: not she—
the object of his love but he—love's origin and meaning.

She would give back to each one his identity. Each
would have a story so suited to his needs
that every word would strike a memory
in his not so newly hatched as newly defined love
mimicked with new meanings yet as century old
as himself. A story of his love would be her definition
of what he was and what he would become,
when all chimeras of his own making

fly to the other side of consciousness,
while the reality of clouds, snow, rain
is brusquely shoved away from heaven,
then poured into his lap as well imagined
as only true things can be. Alive and moving,
always turning back into himself,
his mask of words glistening with newer definitions,
he is himself at last. And he is hers.

One of the many becomes the only one whose story
grows to be punctuated by exclamations of her love
of long ago, well before she made him up:

her thought, an artifice in the artificial world,
created him, a man, in the world of rain and snow,
a man in the world of things that breathe and wonder
at man's being one with trees, her as a tree
whose branches sway to give him shade, repose.

LIFE WITHIN A MUSEUM

To see faces of men, remote and deep,
remote as in a listener singing without words,
singing and seeing the processions of thousands
waiting for the picture to drift and sing,
organize into prismatic perceptions
the unkempt indifference of their wish.

To see the wish grow ripe in the images darkly golden,
darkly painted as the whole stands darkly seen;
desire golden the aura of centuries painted real,
recollected within the shadowy clearness of a mind within
a sea of images, a sea of birds, a birth within
a sea, foam like wings, new birth, new air.

To see the images unravel life within life,
fertile and thickening at the edges—a defense
against life's awkward movements to dislodge
its seed; to turn it limp, and damp, and swarming
with images of the past again—a star, an axe,
salt on the axe, and in the throat.

Music will be salty, too: overwhelmed
with images like sounds, shadows dissolving into song,
shadows conversing in unreal tongues, unreal echoes,
air drifting words in voiceless paraphrases, painted men
under a painted star fishing for the future nestled in the sea
like in a womb, the safest citadel of singing
birds flapping wings imagining alarm:

"The womb has lost its power to create!"
without voice, without words, these golden faces
sing of the past—the salt, the axe,
the air drifting in while they stand frozen—
the guards, the public: a museum still.

DAPHNE AND APOLLO

I will grow myself quiet leaves
in the difficult silence of chastity.

I will hide in the immense namelessness
though each tree murmurs to him my name.

I am the bed of leaves he can never scorch,
not even with his eyes of fire.

I am the naked face of the flower; a cross.
He cannot escape by reaching me.

The god and the goal; the lover and the loved;
the pursuit and the flight, entwined.

Though a god, he will die in the depths of my bark.
I will glisten his face on my leaves.

Every eagle will have his eyelids.
Every event—his speed.

Each one of the thousand suns
will pursue me as he has chased.

Each one of the symbols of silence
will learn his name I refuse to bear.

I am he: the sun, its immense bowl
pouring out selves as from a fount of chastity.

He is I: the ever-green song in flight,
the sun forever pursuing me.

THE NEW LEDA

Not to recall what fear had overwhelmed her soul,
something had seized her throat so she couldn't cry
out to them, white birds, wild, light, drifting
in the sky which was now of the most remote black.
White birds in black sky, white scream in her throat,
hair splashing the shoulders chased by the awesome bird

hung in lulled hair like an ancestor's soul, heavy,
heavy, and waiting for more fresh blood—
another fill of forgetfulness, heaving,
not hiding her—like a mirror refusing a look
at herself from behind her startled shoulder;
the familiar landscape fleeing from her cry for help,

perhaps at the behest of a god, with his sad mortality,
knowing the images to be thus seized and begotten
from this shivering flesh—wild birds, flooding,
no, words, healing...white and fleeting, up in the lightened sky.

Not to recall that alone, she of all women, she,
the mother of the nation of singers, the generation of song
transforming itself into memory—man
of fire, taking her moistened lips; his voice,
chasing her, has become her children's; light,
gentler than her memory still not in her full command,

lighter, with gentler movements, more tact, less mythology,
the singing without the singing within; within
the time allotted for singing; her children singing within
the space allotted for healing music; sounds
that she remembered to have been the ones....
One last time they have seized her throat: wild, black birds, fly.



Nina Kossman, born in Moscow, is the author of *Behind the Border* (New York, 1994, 1996; Tokyo, 1994), and *Pereboi*, a collection of Russian poems published in Moscow, 1990. Her English-language fiction won a UNESCO/PEN Short Story Award in London and was broadcast on the BBC World Service. She lives in New York.



ПОБЕРЕЖЬЕ
THE COAST

Russian-American Publishing

ISBN 0-9654454-0-2